

В. ВЕРЕСАЕВ

3

В. ВЕРЕСАЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

3
ТОМ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1961

Подготовка текста
и примечания
М. П. Е р е м и н а.

НА ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ

Записки

I ДОМА

Япония прервала дипломатические сношения с Россией. В порт-артурском рейде, темною ночью, среди мирно спавших боевых судов загремели взрывы японских мин. В далеком Чемульпо, после титанической борьбы с целюю эскадрою, погибли одинокие «Варяг» и «Кореец»... Война началась.

Из-за чего эта война? Никто не знал. Полгода тянулись чуждые всем переговоры об очищении русскими Маньчжурии, тучи скоплялись все гуще, пахло грозою. Наши правители с дразнящею медлительностью колебались на весах чаши войны и мира. И вот Япония решительно бросила свой жребий на чашу войны.

Русские патриотические газеты закипели воинственным жаром. Они кричали об адском вероломстве и азиатском коварстве японцев, напавших на нас без объявления войны. Во всех крупных городах происходили манифестации. Толпы народа расхаживали по улицам с царскими портретами, кричали «ура», пели «Боже, царя храни!». В театрах, как сообщали газеты, публика настойчиво и единодушно требовала исполнения национального гимна. Уходявшие на восток войска поражали газетных писателей своим бодрим видом и рвались в бой. Было похоже, будто вся Россия сверху донизу охвачена одним могучим порывом одушевления и негодования.

Войка была вызвана, конечно, не Японией, война всем была непонятна своею ненужностью,— что до того? Если у каждой клеточки живого тела есть свое отдельное, маленькое сознание, то клеточки не станут спрашивать, для

чего тело вдруг вскочило, напрягается, борется; кровяные тельца будут бегать по сосудам, мускульные волокна будут сокращаться, каждая клеточка будет делать, что ей предназначено; а для чего борьба, куда наносятся удары,— это дело верховного мозга. Такое впечатление производила и Россия: война была ей ненужна, непонятна, но весь ее огромный организм трепетал от охватившего его могучего подъема.

Так казалось издали. Но вблизи это выглядело иначе. Кругом, в интеллигенции, было враждебное раздражение стнюдь не против японцев. Вопрос об исходе войны не волновал, вражды к японцам не было и следа, наши неуспехи не угнетали; напротив, рядом с болью за безумно-ненужные жертвы было почти злорадство. Многие прямо заявляли, что для России полезнее всего было бы поражение. При взгляде со стороны, при взгляде непонимающими глазами, происходило что-то невероятное: страна борется, а внутри страны ее умственный цвет следит за борьбой с враждебно-вызывающим вниманием. Иностранцев это поражало, «патриотов» возмущало до дна души, они говорили о «гнилой, беспочвенной, космополитической русской интеллигенции». Но у большинства это вовсе не было истинным, широким космополитизмом, способным сказать и родной стране: «ты не права, а прав твой враг»; это не было также органическим отвращением к кровавому способу решения международных споров. Что тут, действительно, могло поражать, что теперь с особенною яркостью бросалось в глаза,— это та невиданно-глубокая, всеобщая вражда, которая была к начавшим войну правительствам страны: они вели на борьбу с врагом, а сами были для всех самыми чуждыми, самыми ненавистными врагами.

Также и широкие массы переживали не совсем то, что им приписывали патриотические газеты. Некоторый подъем в самом начале был,— бессознательный подъем нерассуждающей клеточки, охваченной жаром загоревшегося борьбою организма. Но подъем был поверхностный и слабый, а от назойливо шумевших на сцене фигур ясно тянулись за кулисы толстые нити, и видны были направляющие руки.

В то время я жил в Москве. На масленице мне пришлось быть в Большом театре на «Риголетто». Перед увертюрою сверху и снизу раздались отдельные голоса, требовавшие гимна. Занавес взвился, хор на сцене спел

гимн, раздалось «bis» — спели во второй раз и в третий. Приступили к опере. Перед последним актом, когда все уже сидели на местах, вдруг с разных концов опять раздались одиночные голоса: «Гимн! Гимн!». Моментально взвился занавес. На сцене стоял полукругом хор в оперных костюмах, и снова казенные три раза он пропел гимн. Но странно было вот что: в последнем действии «Риголетто» хор, как известно, не участвует; почему же хористы не переоделись и не разошлись по домам? Как они могли предчувствовать рост патриотического одушевления публики, почему заблаговременно выстроились на сцене, где им в то время совсем не полагалось быть? Назавтра газеты писали: «В обществе замечается все больший подъем патриотических чувств; вчера во всех театрах публика дружно требовала исполнения гимна не только в начале спектакля, но и перед последним актом».

В манифестировавших на улицах толпах тоже наблюдалось что-то подозрительное. Толпы были немногочисленны, наполовину состояли из уличных ребят; в руководителях манифестаций узнавали переодетых околоточных и городских. Настроение толпы было задирающее и грозно приглядывающееся; от прохожих требовали, чтоб они снимали шапки; кто этого не делал, того избивали. Когда толпа увеличивалась, происходили непредвиденные осложнения. В ресторане «Эрмитаж» толпа чуть не произвела полного разгрома; на Страстной площади конные городовые нагайками разогнали манифестантов, слишком пылко проявивших свои патриотические восторги.

Генерал-губернатор выпустил воззвание. Благодаря жителей за выраженные ими чувства, он предлагал прекратить манифестации и мирно приступить к своим занятиям. Одновременно подобные же воззвания были выпущены начальниками других городов, — и повсюду манифестации мгновенно прекратились. Было трогательно то примерное послушание, с каким население соразмеряло высоту своего душевного подъема с мановениями горячо любимого начальства... Скоро, скоро улицы российских городов должны были покрыться другими толпами, спаянными действительным общим подъемом, — и против этого подъема оказались бессильными не только отеческие мановения начальств, но даже его нагайки, шашки и пули.

В витринах магазинов ярко пестрели лубочные картины удивительно хамского содержания. На одной огром-

ный казак с свирепо ухмыляющеюся рожею сек нагайкою маленького, испуганно вопящего японца; на другой картинке живописалось, «как русский матрос разбил японцу нос», — по плачущему лицу японца текла кровь, зубы дождем сыпались в синие волны. Маленькие «макаки» извивались под сапожищами лохматого чудовища с кровожадною рожею, и это чудовище олицетворяло Россию. Тем временем патриотические газеты и журналы писали о глубоко-народном и глубоко-христианском характере войны, о начинающейся великой борьбе Георгия Победоносца с драконом...

А успехи японцев шли за успехами. Один за другим выбывали из строя наши броненосцы, в Корею японцы продвигались все дальше. Уехали на Дальний Восток Макаров и Куропаткин, увозя с собою горы поднесенных икон. Куропаткин сказал свое знаменитое: «терпение, терпение и терпение»... В конце марта погиб с «Петропавловском» слепо-храбрый Макаров, ловко пойманный на удочку адмиралом Того. Японцы перешли через реку Ялу. Как гром, прокатилось известие об их высадке в Бицзыво. Порт-Артур был отрезан.

Оказывалось, на нас шли не смешные толпы презренных «макаков», — на нас наступали стройные ряды грозных воинов, безумно храбрых, охваченных великим душевным подъемом. Их выдержка и организованность внушали изумление. В промежутках между извещениями о крупных успехах японцев телеграммы сообщали о лихих разведках сотника Х. или поручика У., молодецки переколовших японскую заставу в десять человек. Но впечатление не уравнивалось. Доверие падало.

Идет по улице мальчуган-газетчик, у ворот сидят мастеровые.

— Последние телеграммы с театра войны! Наши побили японца!

— Ладно, проходи! Нашли где в канаве пьяного японца и побили! Знаем!

Бои становились чаще, кровопролитнее; кровавый туман окутывал далекую Маньчжурию. Взрывы, огненные дожди из снарядов, волчьи ямы и проволочные заграждения, трупы, трупы, трупы, — за тысячи верст через газетные листы как будто доносился запах растерзанного и обожженного человеческого мяса, призрак какой-то огромной, еще невиданной в мире бойни.

В апреле я уехал из Москвы в Тулу, оттуда в деревню. Везде жадно хватались за газеты, жадно читали и спрашивали. Мужики печально говорили:

— Теперь еще больше пойдут податей брать!

В конце апреля по нашей губернии была объявлена мобилизация. О ней глухо говорили, ее ждали уже недели три, но все хранилось в глубочайшем секрете. И вдруг, как ураган, она ударила по губернии. В деревнях людей брали прямо с поля, от сохи. В городе полиция глухою ночью звонила в квартиры, вручала призываемым билеты и приказывала немедленно явиться в участок. У одного знакомого инженера взяли одновременно всю его прислугу: лакея, кучера и повара. Сам он в это время был в отлучке, — полиция взломала его стол, достала паспорта призывных и всех их увела.

Было что-то равнодушно-свирепое в этой непонятной торопливости. Людей выхватывали из дела на полном его ходу, не давали времени ни устроить его, ни ликвидировать. Людей брали, а за ними оставались бессмысленно разоренные хозяйства и разрушенные благополучия.

Наутро мне пришлось быть в воинском присутствии, — нужно было дать свой деревенский адрес на случай призыва меня из запаса. На большом дворе присутствия, у заборов, стояли телеги с лошадьми, на телегах и на земле сидели бабы, ребята, старики. Вокруг крыльца присутствия теснилась большая толпа мужиков. Солдат стоял перед дверью крыльца и гнал мужиков прочь. Он сердито кричал:

— Сказано вам, в понедельник приходи!.. Ступай, расходись!

— Да как же это так в понедельник?.. Забрали нас, гнали, гнали: «Скорей! Чтоб сейчас же явиться!»

— Ну, вот, в понедельник и являйся!

— В понедельник! — Мужики отходили, разводя руками. — Подняли ночью, забрали без разговоров. Ничего справить не успели, гнали сюда за тридцать верст, а тут — «приходи в понедельник». А нынче суббота.

— Нам к понедельнику и самим было бы способнее... А теперь где ж нам тут до понедельника ждать?

По всему городу стояли плач и стоны. Здесь и там вспыхивали короткие, быстрые драмы. У одного призванного заводского рабочего была жена с пороком сердца и пятеро ребят; когда пришла повестка о призыве, с женою

от волнения и горя сделался паралич сердца, и она тут же умерла; муж поглядел на труп, на ребят, пошел в сарай и повесился. Другой призванный, вдовец с тремя детьми, плакал и кричал в присутствии:

— А с ребятами что мне делать? Научите, покажите!.. Ведь они тут без меня с голоду передохнут!

Он был как сумасшедший, вопил и тряс в воздухе кулаком. Потом вдруг замолк, ушел домой, зарубил топором своих детей и воротился.

— Ну, теперь берите! Свои дела я справил.

Его арестовали.

Телеграммы с театра войны снова и снова приносили известия о крупных успехах японцев и о лихих разведках хорунжего Иванова или корнета Петрова. Газеты писали, что победы японцев на море неудивительны, — японцы природные моряки; но теперь, когда война перешла на сушу, дело пойдет совсем иначе. Сообщалось, что у японцев нет больше ни денег, ни людей, что под ружье призваны шестнадцатилетние мальчики и старики. Куропаткин спокойно и грозно заявил, что мир будет заключен только в Токио.

В начале июня я получил в деревне телеграмму с требованием немедленно явиться в воинское присутствие.

Там мне объявили, что я призван на действительную службу и должен явиться в Тамбов, в штаб 72 пехотной дивизии. По закону полагалось два дня на устройство домашних дел и три дня на обмундирование. Началась спешка, — шилась форма, закупались вещи. Что именно шить из формы, что покупать, сколько вещей можно с собою взять, — никто не знал. Сшить полное обмундирование в пять дней было трудно; пришлось торопить портных, платить втридорога за работу днем и ночью. Все-таки форма на день запоздала, и я поспешно, с первым же поездом, выехал в Тамбов.

Приехал я туда ночью. Все гостиницы были битком набиты призванными офицерами и врачами, я долго ездил по городу, пока в грязных меблированных комнатах на окраине города нашел свободный номер, дорогой и скверный.

Утром я пошел в штаб дивизии. Необычно было чувствовать себя в военной форме, необычно было, что встреч-

ные солдаты и городовые делают тебе под козырек. Ноги путались в болтавшейся на боку шашке.

Длинные, низкие комнаты штаба были уставлены столами, везде сидели и писали офицеры, врачи, солдаты-писаря. Меня направили к помощнику дивизионного врача.

— Как ваша фамилия?

Я сказал.

— Вы у нас в мобилизационном плане не значитесь,— удивленно возразил он.

— Я уж не знаю. Я вызван сюда, в Тамбов, с предписанием явиться в штаб 72 пехотной дивизии. Вот бумага.

Помощник дивизионного врача посмотрел мою бумагу, пожал плечами. Пошел куда-то, поговорил с каким-то другим врачом, оба долго копались в списках.

— Нет, нигде решительно вы у нас не значитесь! — объявил он мне.

— Значит, я могу ехать обратно? — с улыбкой спросил я.

— Подождите тут немного, я еще посмотрю.

Я стал ждать. Были здесь и другие врачи, призванные из запаса,— одни еще в статском платье, другие, как я, в новеньких сюртуках с блестящими погонами. Перезнакомились. Они рассказывали мне о невообразимой путанице, которая здесь царствует,— никто ничего не знает, ни от кого ничего не добьешься.

— Вста-ать!!! — вдруг повелительно прокатился по комнате звонкий голос.

Все встали, поспешно оправляясь. Молодцевато вошел старик-генерал в очках и шутливо гаркнул:

— Здравия желаю!

В ответ раздался приветственный гул. Генерал прошел в следующую комнату.

Ко мне подошел помощник дивизионного врача.

— Ну, наконец, нашли! В 38 полевом подвижном госпитале не хватает одного младшего ординатора, присутствие признало его больным. Вы вызваны на его место... Вот как раз ваш главный врач, представьтесь ему.

В канцелярию торопливо входил невысокий, худощавый старик в заношенном сюртуке, с почерневшими погонами коллежского советника. Я подошел, представился. Спрашиваю, куда мне нужно ходить, что делать.

— Что делать?.. Да делать нечего. Дайте в канцелярию свой адрес, больше ничего.

День за днем шел без дела. Наш корпус выступал на Дальний Восток только через два месяца. Мы, врачи, подновляли свои знания по хирургии, ходили в местную городскую больницу, присутствовали при операциях, работали на трупах.

Среди призванных из запаса товарищей-врачей были специалисты по самым разнообразным отраслям, — были психиатры, гигиенисты, детские врачи, акушеры. Нас распределили по госпиталям, по лазаретам, по полкам, руководясь мобилизационными списками и совершенно не интересуясь нашими специальностями. Были врачи, давно уже бросившие практику; один из них лет восемь назад, тотчас же по окончании университета, поступил в акциз и за всю свою жизнь самостоятельно не прописал ни одного рецепта.

Я был назначен в полевой подвижной госпиталь. К каждой дивизии в военное время придается по два таких госпиталя. В госпитале — главный врач, один старший ординатор и три младших. Низшие должности были замещены врачами, призванными из запаса, высшие — военными врачами.

Нашего главного врача, д-ра Давыдова, я видел редко: он был занят формированием госпиталя, кроме того, имел в городе обширную практику и постоянно куда-нибудь торопился. В штабе я познакомился с главным врачом другого госпиталя нашей дивизии, д-ром Мутиным. До мобилизации он был младшим врачом местного полка. Жил он еще в лагере полка, вместе с женою. Я провел у него вечер, встретил там младших ординаторов его госпиталя. Все они уже перезнакомились и сошлись друг с другом, отношения с Мутиным установились чисто товарищеские. Было весело, семейно и уютно. Я жалел и завидовал, что не попал в их госпиталь.

Через несколько дней в штаб дивизии неожиданно пришла из Москвы телеграмма: д-ру Мутину предписывалось сдать свой госпиталь какому-то д-ру Султанову, а самому немедленно ехать в Харбин и приступить там к формированию запасного госпиталя. Назначение было неожиданное и непонятное: Мутин уж сформировал здесь свой госпиталь, все устроил, — и вдруг это перемещение. Но, ко-

нечно, приходилось покориться. Еще через несколько дней пришла новая телеграмма: в Харбин Мутину не ехать, он снова назначается младшим врачом своего полка, какой и должен сопровождать на Дальний Восток; по приезде же с эшелоном в Харбин ему предписывалось приступить к формированию запасного госпиталя.

Обида была жестокая и незаслуженная. Мутин возмущался и волновался, осунулся, говорил, что после такого служебного оскорбления ему остается только пустить себе пулю в лоб. Он взял отпуск и поехал в Москву искать правды. У него были кое-какие связи, но добиться ему ничего не удалось: в Москве Мутину дали понять, что в дело замешана большая рука, против которой ничего нельзя поделать.

Мутин воротился к своему разбитому корыту — полковому околотку, а через несколько дней из Москвы приехал его преемник по госпиталю, д-р Султанов. Был это стройный господин лет за сорок, с бородкою клинышком и седеющими волосами, с умным, насмешливым лицом. Он умел легко заговаривать и разговаривать, везде сразу становился центром внимания и ленивым, серьезным голосом ронял остроты, от которых все смеялись. Султанов побыл в городе несколько дней и уехал назад в Москву. Все заботы по дальнейшему устройству госпиталя он предоставил старшему ординатору.

Вскоре стало известно, что из четырех сестер милосердия, приглашенных в госпиталь из местной общины Красного Креста, оставлена в госпитале только одна. Д-р Султанов заявил, что остальных трех он заместит сам. Шли слухи, что Султанов — большой приятель нашего корпусного командира, что в его госпитале, в качестве сестер милосердия, едут на театр военных действий московские дамы, хорошие знакомые корпусного командира.

Город был полон войсками. Повсюду мелькали красные генеральские отвороты, золотые и серебряные приборы офицеров, желто-коричневые рубашки нижних чинов. Все козыряли, вытягивались друг перед другом. Все казалось странным и чуждым.

На моей одежде были серебряные пуговицы, на плечах — мишурные серебряные полоски. На этом основании всякий солдат был обязан почтительно вытягиваться передо мною и говорить какие-то особенные, нигде больше не принятые слова: «так точно!», «никак нет!», «рад старать-

ся!» На этом же основании сам я был обязан проявлять глубокое почтение ко всякому старику, если его шинель была с красною подкладкою и вдоль штанов тянулись красные лампасы.

Я узнал, что в присутствии генерала я не имею права курить, без его разрешения не имею права сесть. Я узнал, что мой главный врач имеет право посадить меня на неделю под арест. И это без всякого права апелляции, даже без права потребовать объяснения по поводу ареста. Сам я имел подобную же власть над подчиненными мне нижними чинами. Создавалась какая-то особая атмосфера, видно было, как люди пьянели от власти над людьми, как их души настраивались на необычный, вызывавший улыбку лад.

Любопытно, как эта одурманивающая атмосфера подействовала на слабую голову одного товарища-врача, призванного из запаса. Это был д-р Васильев, тот самый старший ординатор, которому предоставил устраивать свой госпиталь уехавший в Москву д-р Султанов. Психически неуравновешенный, с болезненно-вздутым самолюбием, Васильев прямо ошалел от власти и почета, которыми вдруг оказался окруженным.

Однажды входит он в канцелярию своего госпиталя. Когда главный врач (пользующийся правами командира части) входил в канцелярию, офицер-смотритель обыкновенно командовал сидящим писарям: «встать!» Когда вошел Васильев, смотритель этого не сделал.

Васильев нахмурился, отозвал смотрителя в сторону и грозно спросил, почему он не скомандовал писарям встать. Смотритель пожал плечами.

— Это — только проявление известной вежливости, которую я волен вам оказывать, волен нет!

— Извините-с! Раз я исправляю должность главного врача, вы это по закону *обязаны* делать!

— Я такого закона не знаю!

— Ну, постарайтесь узнать, а пока отправляйтесь на двое суток под арест.

Офицер обратился к начальнику дивизии и рассказал ему, как было дело. Пригласили д-ра Васильева. Генерал, начальник его штаба и два штаб-офицера разобрали дело и порешили: смотритель был обязан крикнуть: «встать!» От ареста его освободили, но перевели из госпиталя в строй.

Когда смотритель ушел, начальник дивизии сказал д-ру Васильеву:

— Вы видите, я генерал. Я служу уж почти сорок лет, поседел на службе,— и до сих пор *ни разу* еще не посадил офицера под арест. Вы только что попали на военную службу, временно, на несколько дней получили власть,— и уж поспешили использовать эту власть в полном ее объеме.

В мирное время нашего корпуса не существовало. При мобилизации он был развернут из одной бригады и почти целиком состоял из запасных. Солдаты были отвыкшие от дисциплины, удрученные думами о своих семьях, многие даже не знали обращения с винтовками нового образца. Они шли на войну, а в России оставались войска молодые, свежие, состоявшие из кадровых солдат. Рассказывали, что военный министр Сахаров сильно враждует с Куропаткиным и нарочно, чтобы вредить ему, посылает на Дальний Восток самые плохие войска. Слухи были очень настойчивы, и Сахарову в беседах с корреспондентами приходилось усиленно оправдываться в своем непонятном образе действий.

Я познакомился в штабе с местным дивизионным врачом; он по болезни уходил в отставку и дослуживал свои последние дни. Был это очень милый и добродушный старичок,— жалкий какой-то, жестоко поклеванный жизнью. Я из любопытства поехал с ним в местный военный лазарет на заседание комиссии, которая осматривала солдат, заявившихся больными. Мобилизованы были и запасные самых ранних призывов; перед глазами бесконечную вереницею проходили ревматики, эмфизематики, беззубые, с растяжением ножных вен. Председатель комиссии, бравый кавалерийский полковник, морщился и жаловался, что очень много «протестованных». Меня, напротив, удивляло, скольких явно больных заседавшие здесь военные врачи не «протестуют». По окончании заседания к моему знакомцу обратился один из врачей комиссии:

— Мы тут без вас признали одного негодным к службе. Посмотрите,— можно его освободить? Сильнейшее varicose.

Ввели солдата.

— Спусти штаны! — резко, каким-то особенным, подзревающим голосом сказал дивизионный врач.— Эге! Это-то? Пу-устяки! Нет, нет, освободить нельзя!

— Ваше высочордие, я совсем ходить не могу,— угрюмо заявил солдат.

Старичок вдруг вскипел.

— Врешь! Притворяешься! Великолепно можешь ходить!.. У меня, брат, у самого еще больше, а вот хожу!.. Да это пустяки, помилуйте! — обратился он к врачу. — Это у большинства так... Мерзавец какой! Сукин сын!

Солдат одевался, с ненавистью глядя исподлобья на дивизионного врача. Оделся и медленно пошел к двери, расставляя ноги.

— Иди как следует! — заорал старик, бешено затопав ногами. — Чего раскорячился? Прямо ступай! Меня, брат, не надуешь!

Они обменялись взглядами, полными ненависти. Солдат вышел.

В полках старшие врачи, военные, твердили младшим, призванным из запаса:

— Вы незнакомы с условиями военной службы. Относитесь к солдатам поостороже, имейте в виду, что это не обычный пациент. Все они удивительные лодыри и симулянты.

Один солдат обратился к старшему врачу полка с жалобой на боли в ногах, мешающие ходить. Наружных признаков не было, врач раскричался на солдата и прогнал его. Младший полковой врач пошел следом за солдатом, тщательно осмотрел его и нашел типическую, резко выраженную плоскую стопу. Солдат был освобожден. Через несколько дней этот же младший врач присутствовал в качестве дежурного на стрельбе. Солдаты возвращаются, один сильно отстал, как-то странно припадает на ноги. Врач спросил, что с ним.

— Ноги болят. Только болезнь нутряная, снаружи не видно,— сдержанно и угрюмо ответил солдат.

Врач исследовал,— оказалось полное отсутствие коленных рефлексов. Разумеется, освободили и этого солдата.

Вот они, лодыри! И освобождены они были только потому, что молодой врач «не был знаком с условиями военной службы».

Нечего говорить, как жестоко было отправлять на войну всю эту немощную, стариковскую силу. Но прежде всего это было даже прямо нерасчетливо. Проехав семь тысяч верст на Дальний Восток, эти солдаты после первого же перехода сваливались. Они заполняли госпитали, этапы,

слабосильные команды, через один-два месяца — сами никуда уж не годные, не принесшие никакой пользы и дорого обошедшиеся казне,— эвакуировались обратно в Россию.

Город все время жил в страхе и трепете. Буйные толпы призванных солдат шатались по городу, грабили прохожих и разносили казенные винные лавки. Они говорили: «Пускай под суд отдают,— все равно помирать!» Вечером за лагерями солдаты напали на пятьдесят возвращавшихся с кирпичного завода баб и изнасиловали их. На базаре шли глухие слухи, что готовится большой бунт запасных.

С востока приходили все новые известия о крупных успехах японцев и о лихих разведках русских сотников и поручиков. Газеты писали, что победы японцев в горах неудивительны,— они природные горные жители; но война переходит на равнину, мы можем развернуть нашу кавалерию, и дело теперь пойдет совсем иначе. Сообщалось, что у японцев совсем уже нет ни денег, ни людей, что убыль в солдатах пополняется четырнадцатилетними мальчишками и дряхлыми стариками. Куропаткин, исполняя свой никому неведомый план, отступал к грозно укрепленному Ляояну. Военные обозреватели писали: «Лук согнулся, тетива напряглась до крайности,— и скоро смертоносная стрела с страшною силою полетит в самое сердце врага».

Наши офицеры смотрели на будущее радостно. Они говорили, что в войне наступает перелом, победа русских несомненна, и нашему корпусу навряд ли даже придется быть в деле: мы там нужны только, как сорок тысяч лишних штыков при заключении мира.

В начале августа пошли на Дальний Восток эшелоны нашего корпуса. Один офицер, перед самым отходом своего эшелона, застрелился в гостинице. На Старом Базаре в булочную зашел солдат, купил фунт ситного хлеба, попросил дать ему нож нарезать хлеб и этим ножом полоснул себя по горлу. Другой солдат застрелился за лагерем из винтовки.

Однажды зашел я на вокзал, когда уходил эшелон. Было много публики, были представители от города. Начальник дивизии напутствовал уходящих речью; он говорил, что прежде всего нужно почитать бога, что мы с богом начали войну, с богом ее и кончим. Раздался звонок, пошло прощание. В воздухе стояли плач и вой женщин. Пьяные

солдаты размещались в вагонах, публика совала отъезжающим деньги, мыло, папиросы.

Около вагона младший унтер-офицер прощался с женою и плакал, как маленький мальчик; усатое загорелое лицо было залито слезами, губы кривились и распускались от плача. Жена была тоже загорелая, скуластая и ужасно безобразная. На ее руке сидел грудной ребенок в шапочке из разноцветных лоскутков, баба качалась от рыданий, и ребенок на ее руке качался, как листок под ветром. Муж рыдал и целовал безобразное лицо бабы, целовал в губы, в глаза, ребенок на ее руке качался. Странно было, что можно так рыдать от любви к этой уродливой женщине, и к горлу подступали слезы от несшихся отовсюду рыданий и всхлипывающих вздохов. И глаза жадно останавливались на набитых в вагоны людях: сколько из них воротится? сколько ляжет трупами на далеких залитых кровью полях?

— Ну, садись, полезай в вагон! — торопили унтер-офицера. Его подхватили под руки и подняли в вагон. Он, рыдая, рвался наружу к рыдающей бабе с качающимся на руке ребенком.

— Разве солдат может плакать? — строго и упрекающе говорил фельдфебель.

— Ма-атушка ты моя ро-одненькая!.. — тоскливо выли бабы голоса.

— Отходи, отходи! — повторяли жандармы и оттесняли толпу от вагонов. Но толпа сейчас же опять приливали назад, и жандармы опять теснили ее.

— Чего стараетесь, продажные души? Аль не жалко вам? — с негодованием говорили из толпы.

— Не жалко? Нешто не жалко? — поучающе возражал жандарм. — А только так-то вот люди и режутся, и режут. И под колеса бросаются. Нужно смотреть.

Поезд двинулся. Вой баб стал громче. Жандармы оттесняли толпу. Из нее выскочил солдат, быстро перебежал платформу и протянул уезжавшим бутылку водки. Вдруг, как из земли, перед солдатом вырос комендант. Он вырвал у солдата бутылку и ударил ее о плиты. Бутылка разлетелась вдребезги. В публике и в двигавшихся вагонах раздался угрожающий ропот. Солдат вспыхнул и злобно закусил губу.

— Не имеешь права бутылку разбивать! — крикнул он на офицера.